Михаил БАРУ

Михаил Бару родился в 1958 году в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Новая Юность» и др. В «Волге» публикуется с 1999 года. Автор нескольких книг стихов и прозы. Составитель первой российской антологии хайку и трехстиший «Сквозь тишину» (2006). Живет в Москве.

ИСКЛЮЧАЯ ТИХИХ АНГЕЛОВ

С возрастом начинаешь все больше замыкаться в себе. Превращаешься в того, у кого весь мир внутри, а не снаружи. Смотришь пристально внутрь, а там за долгие годы накопилось много разного и все в страшном беспорядке брошено одно поверх другого – горькое, светлое, темное, светлое с темными пятнами, темное со светлыми полосами, просто приятное и приятное во всех отношениях, такое себе, сладкое и сладкое, но чересчур, еще и ядовитое при этом, путешествия за тридевять земель и возвращения несолоно хлебавши, постоянная Больцмана, нечаянные встречи, чужое сбывшееся желание, поле, заросшее гвоздикой, память о чьей-то серебряной сережке с топазом, напрасные хлопоты, ненаписанные стихи, ветка березы, согнувшаяся под тяжестью мокрого снега, неотправленные письма, уравнение турбулентной диффузии, сны о чем-то большем, несказанное и невысказанное, позеленевшее от времени и похожее на камни в почках, то, что хотелось запомнить навсегда и от чего не осталось ничего, кроме какого-то белого пятна, размазанного как один-единственный электрон на орбите атома водорода, то, что хотелось забыть, но не получилось и вряд ли уже получится, как ни старайся, и со всем этим хочется разобраться, привести в порядок, разложить по полочкам, ящичкам и отдельным коробочкам, наклеить на все красивые этикетки и не забыть предупредить жену, чтобы она их не переклеивала, а она как пить дать переклеит потому, что сережка с топазом ее, и потом ничего ни найти ни вспомнить будет невозможно…

***

В конце зимы время в Москве замедляется и начинает течь так же неторопливо, как где-нибудь в Костроме или в Вологде, или даже в Моршанске. Сугробы еще и не думают таять, но снежинки уже не летят, не кружатся, не устраивают хороводы, а падают и, не долетев до земли, тают. Теперь хорошо пойти в какой-нибудь старинный парк и там с чувством, толком и расстановкой гулять по протоптанным за зиму тропинкам среди занесенных снегом бронзовых наяд, фавнов, диан и облупленных гипсовых ваз, украшенных гирляндами и купидонами. Вокруг ванильно-сливочная меланхолия, черно-белая гравюра, серебряный век и сплошное бенуа. Ходить и воображать себя непризнанным гением, нищим эгофутуристом, у которого болит с похмелья голова и нет денег даже на самую обычную рюмку водки и тарелку горячих щей, чтобы прийти в себя после вчерашней смеси пятистопного ямба с анапестом…

При мысли о горячих щах ты, мгновенно перестав быть эгофутуристом, говоришь жене, которая идет рядом и пьет кофе из картонного стаканчика:

– Не приготовить ли нам щей из квашеной капусты? Через пару недель зима кончится, и тогда поздно будет. Тогда придется варить весенний суп-пренtаньер с овощами и кореньями, который заказывал Стива Облонский, обедая с Левиным.

Вы уходите из парка и едете на рынок, покупать квашеную капусту, говяжью грудинку на кости, картошку, морковь, чеснок, лавровый лист и все то, что нужно для щей.

Если вы москвич или судьба забросила вас в этот город, и вы не можете из него выбраться, то лучшей квашеной капусты чем на Коптевском рынке вам не найти. Рынок там

самый простой – черной икры или живых омаров, как на Дорогомиловском или Даниловском, там не купишь, но в павильоне «Соленья» торгуют квашеной капустой, солеными огурцами, помидорами, груздями и опятами женщины из Рязани, которые бог знает в каком поколении квасят капусту и солят огурцы, грибы и помидоры. Если бы им разрешили торговать еще и распивочно водкой, то очередь, особенно в выходные дни, была бы на километр, а то и на два. Так и вижу, как стоят в очереди мужики, которых жены послали за картошкой или репчатым луком – кто курит, кто молча стоит и на морозе выдыхает клубы пара, весь сосредоточенный на предвкушении, как продают недорого свои очереди какие-то темные личности обтерханного вида, как бегают вдоль очереди чьи-то жены и спрашивают, не видел ли кто мужчину небольшого роста очень средних лет в серой вязаной шапке с помпоном и коротком пуховике, который вчера как ушел из дому за картошкой – так и пропал, как выходит из павильона краснорожий полицейский, у которого в усах капуста... Ты подходишь к прилавку, берешь пятьдесят или два раза по пятьдесят, а тебе к ним подают маленькую пластиковую тарелочку с капустой, двумя солеными грибками по выбору, четвертинкой соленого помидора и огурчиком-корнишоном...

В моем провинциальном детстве квашеную капусту на рынке у нас в Серпухове хорошие хозяйки не покупали – квасили сами. Само собой, жильцы многоквартирных домов бочки для этих целей не использовали – квасили в эмалированных ведрах, а потом перекладывали в трехлитровые банки, которые хранили в подвалах. У нас дом был послевоенной постройки, и под ним было большое бомбоубежище, которое жильцы, переругавшись между собой вдрызг, разделили на множество маленьких клетушек, в которых хранили картошку, соленья, лыжи, детские санки и все то, что не помещалось в наши небольшие квартиры. Холодильники были далеко не у всех, а когда появились первые маленькие «Саратовы», то в них не то что ведра, но даже и трехлитровые банки влезали с трудом. Банка с капустой или огурцами, принесенная домой на кухню, хранилась в специальной нише под подоконником, которую устраивали каменщики еще на этапе строительства дома. У папы на военном заводе умельцы делали жестяные ящики, которые прикреплялись снаружи к окну в районе форточки – открыл форточку и попал в холодильник. Летом их снимали. Мало кто квасил капусту, так сказать, саму по себе – в нее добавляли, кроме обязательной моркови, клюкву и антоновские яблоки. Такие моченые яблоки, которые укладывали между слоями капусты, вместе с грибами и соленьями подавали к щам отдельно. Точнее сказать, подавали к водке, без которой щей, тем более из квашеной капусты, не бывает.

Правду говоря, рецепт приготовления щей из квашеной капусты прост и всем давно известен. Нет никакого смысла его еще раз повторять. Для него необходимо только терпение во время тушения капусты. Ее нужно тушить долго. Лучше всего часа три. Она должна стать мягкой, нежной и приобрести теплый красноватый (но не зловещий) оттенок. Обычно, когда я тушу квашеную капусту к щам, наливаю себе рюмку калгановой[1] или хлебной, настоянной на ржаных сухарях, водки и, помешивая капусту в сотейнике, смотрю в окно на почерневшие к концу зимы сугробы, на дворника в оранжевой куртке, разгуливающего по двору с лопатой, на людей, мерзнущих на остановке в ожидании автобуса, на опустившиеся на город серые сумерки, и «думаю о том, куда зашли мы? И от чего мы больше далеки», или «Куда ты ведёшь нас? Не видно ни зги! – Идите за мной, не…», или «Русь, куда несет тебя?

[1] Сама по себе калгановая имеет немного лекарственный вкус, а потому, чтобы избавиться от него, в настойку стоит добавить некоторое количество лимонных или апельсиновых корочек и пару горошин душистого перца. К долгим и не очень веселым думам прекрасно подходит настойка на ореховых перегородках с очень небольшим количеством кураги и несколькими каплями с хрящиком, и густо намазанный лимонного сока. Тут есть одна тонкость – настаивать ореховые перегородки с курагой нужно как минимум месяц, а лучше два, а потом, после фильтрования, оставить графин в темном месте еще на месяц. За это время и настойка созреет окончательно, и ваши думы, из которых уйдут ненужная горечь и обида, выстроятся в порядке, удобном для размышлений. Вот эта чуть заметная сладость, которую дает курага, и даст вам понять, что не все так плохо, как могло бы быть.

Дай ответ. Не дает ответа», или «Сбились мы. Что делать нам! В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам…», или «Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума», а после второй или третьей рюмки «И ненавижу ее и люблю. “Почему же?” – ты спросишь. Сам я не знаю, но так чувствую я – и томлюсь».

Наверное, чтобы передумать все это, одной рюмки не хватит. Нужно как минимум три, а то и четыре, если как следует попытаться понять… но лучше этого не делать, чтобы не спиться. Лучше в уже почти готовые щи вместе с лавровым листом и горошинами душистого перца бросить щепотку свежеразмолотого кориандра, который придаст им некоторую пикантность и дресвяно-пряный аромат с едва уловимыми цитрусовыми оттенками. Некоторые добавляют еще и тмин, чтобы сделать вкус более глубоким. Впрочем, все это от лукавого – более глубокий вкус щам придает запотевший графин с орехово-лимонной настойкой цвета темного янтаря, окруженный самыми разными простыми закусками вроде языка со сливочным хреном, говяжьего или свиного холодца, соленых огурцов, рыжиков или груздей со сметаной, селедки с луком, селедочной икры, молок, горбушки обжаренного на масле и натертого чесноком бородинского хлеба, на которую положен ломтик копченой корейки с хрящиком и густо намазанный сверху горчицей, взрывающейся разноцветными искрами где-то в мозжечке.

Нужно признаться, что щи из квашеной капусты блюдо не для первого свидания и не для дипломатических приемов – оно для семейного обеда или ужина. Тем более, что готово оно бывает обычно поздно вечером, когда уже спать пора. Конечно, лучше всего оставить щи настаиваться до утра, но… вдруг оказывается, что жена уже разделала селедку, положила в тарелку с груздями столовую ложку сметаны с верхом, намазала две горбушки бородинского хлеба сливочным маслом, поверх него положила селедочной икры, посыпала все это мелконарезанным зеленым луком, достала из холодильника графин и налила в рюмки...

***

С возрастом начинаешь понимать, что возможность складывать из слов простые предложения, а из простых сложноподчиненные, а из сложноподчиненных сложноподчиненные с придаточными... дана тебе не навсегда. Какому-нибудь гению, может, и на всю жизнь – до самой ранней смерти, но тебе – нет. То есть как живой организм ты остаешься на этом свете и наверное после полной или частичной утраты этой возможности прибавишь в весе, как прибавляют те, кто бросил курить, но как писатель…[2] То, что внутри твоей головы отвечало за подбор лучших слов в наилучшем порядке, умерло и улетело прочь к звездам, а ты, превратившись в тыкву, понуро бредешь по длинному черному тоннелю, в конце которого рыбалка, замена свечи у лодочного мотора, поход за грибами, сон после обеда, домашнее абрикосовое варенье, старые журналы, герань в горшках, долгие семейные застолья, социальные сети и даже посадка чеснока под зиму.

Утром просыпаешься с мыслью «Можешь не писать – не пиши» и, пока умываешься, чистишь зубы, завтракаешь, пьешь чай и куришь на балконе, катаешь ее по пустой голове как биллиардный шар по столу. Час катаешь, два катаешь, половину третьего и... не пишешь. К началу четвертого часа начинают чесаться руки. Голова все понимает и даже не пытается ничего сочинять, но руки… у них память. Руки помнят, и чешутся несмотря ни на что. Говоришь жене:

– Может, у нас есть какое-нибудь антигистаминное или крем какой. Руки чешутся – сил нет.

– Знаю я твое антигистаминное, – отвечает жена. – Раньше обеда даже и не думай. Возьми-ка лучше квитанции за свет, отопление и воду. Заполнишь их – глядишь, и отпустит.

---

[2] Так и видишь, как над тобой склоняются близкие родственники, точно хирурги над без пяти минут покойником, улыбаются и восклицают: «Мы его находим! Он возвращается!»

Ты заполняешь квитанции, но… не отпускает. Только хуже становится – точно иголками кто-то колет в подушечки пальцев, и от этого отдает в мозжечок как после злой горчицы или хрена. Тогда ты садишься за ноутбук и только для того, чтобы размять пальцы, пишешь: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». Потом стираешь и снова: «В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в своей постели…» Немного подумав, это тоже стираешь. Печатаешь: «Сегодняшний день – есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я». Незаметно увлекаешься и с большим трудом останавливаешь себя в тот момент, когда нужно резать ножницами вицмундир, чтобы сшить королевскую мантию. Смотришь на себя глазами жены и злишься оттого, что каждый день приходится по капле выдавливать из себя писателя. Кажется уже и выдавил все, кажется уже ни капли не осталось, а как прищуришься и посмотришь в себя внимательно...

Наконец зовут обедать. Ты идешь обедать и думаешь о том, что рыбалка, ремонт спиннинга, поход за земляникой, сон после обеда, старые журналы, домашнее вишневое варенье, фиалки в горшках, послеобеденный сон, бесконечные семейные застолья, не говоря о посадке укропа под зиму, давно и не один раз уже описаны и нечего даже пытаться…

***

Объяснял прохожему как пройти и подумал, что в будущем у каждого будет свой личный навигатор вроде автомобильного, но лучше и умнее. К нему будет подключен искусственный интеллект. Он будет не только показывать как пройти, где повернуть и куда бросить окурок, но еще и рассказывать… ну, к примеру, велит обойти компанию подозрительных мужиков, некультурно распивающих спиртные напитки в подворотне. Или если вы и сам подозрительный мужик, ищущий где бы опохмелиться, посоветует подсесть к их компании и предложить в качестве вступительного взноса сникерс или хотя бы пустой стакан. В будущем все будут состоять в социальных сетях и все и про всех будет известно. Вот симпатичная женщина попросит у тебя закурить, и ты уже достаешь из широких штанин…, а твой навигатор тебе шепчет: «Даже и не думай. Отойди от нее немедленно! Во-первых, с этой… из дома номер три квартира пятнадцать, первый этаж, однокомнатная, площадь тридцать семь квадратов, совмещенный санузел... половина твоей улицы и половина соседней… Во-вторых, все кончится плохо. Проснешься на детской площадке утром синий от холода, без денег, часов и обручального кольца. Кому сказали отойди! Я сейчас включу сигнал тревоги, и у жены на пульте в голове загорится красная лампочка…» Или на совещании у начальства ты уже открыл рот, чтобы сказать, что вы же сами, Константин Сергеевич, приказали... а навигатор тебе говорит в голову: «Рот закрой. Сойдешь за умного. Еще полчаса посидишь молча и уйдешь без выговора». Или жена тебе велела помыть посуду, выбросить мусор, купить два двухнедельных тура на Пхукет и кольцо с бриллиантом, которое она присмотрела на аукционе Sotheby’s, а ты вместо этого сел писать стихи и пишешь, и пишешь... Тут навигатор тебе посоветует или превратиться в воробья и улететь на время, пока жена не успокоится, или в таракана, и заползти под плинтус, или... просто перегорит, наполнив голову едким дымом и оставив во рту неприятный пластмассовый привкус.

***

Все могло бы повернуться по-другому, если бы совесть существовала в нас не в виде моральной категории или внутреннего голоса, а в виде внутреннего органа. Пусть небольшого – вроде щитовидной или поджелудочной желез, или аппендикса, но важного для общего самочувствия. Родился ребенок, а у него уже есть совесть – пока маленькая, с горошину, но к пятнадцати или к двадцати годам вполне развилась бы в полноценный орган размером с грецкий орех. Конечно, будут и аномалии – кто-то родится с недоразвитой совестью, а кто-то и вовсе без нее. Таких будут выявлять с помощью УЗИ и ставить на учет… Куда? Куда следует, туда и будут ставить. Целая наука возникнет по изучению

болезней и патологий совести. Диссертаций понапишут… Как на этот орган влияют доносы, взятки, лжесвидетельства, супружеские измены, лицемерие и даже детские скрещенные пальцы за спиной, когда ты в пятилетнем возрасте липкими губами клянешься, что это не ты съел все абрикосовое варенье, или обещаешь больше никогда не брить кота папиной электробритвой. Все соотнесут с размерами органа, с камнями, с песком, которые в нем образовались за годы жизни, с его эхогенностью и… придумают еще с чем. Наверняка окажется, что у людей, часто совершающих неблаговидные поступки, совесть будет увеличиваться, как печень у алкоголиков, и станет выпирать с какого-нибудь боку и мешать, к примеру, глотать. Само собой, совесть начнут лечить. Не тем, что перестанут писать доносы, изменять и давать взятки – на это надеяться не приходится, а таблетками вроде обезболивающих, успокаивающих, или даже придумают вакцины. Все это будет незаконно и подпольно, государство будет с этим бороться. Расклеят везде плакаты, что прием таких таблеток аморален, и телефон доверия напишут, по которому звонить, если ты увидишь, как кто-то... или сам принимаешь, но не знаешь, как прекратить. Найдутся и те, кто решит хирургическим путем избавиться от органа, который причиняет такое беспокойство. Решил человек пойти налево или на выборы, и ему предстоит на голубом глазу давать обещания избирателям, или занять крупную сумму денег у сослуживца… да мало ли что. Лучше заранее к этому подготовиться. Тут, однако, могут возникнуть затруднения. При приеме подписей кандидатов в депутаты или в президенты будут отправлять на УЗИ, и тут все может вскрыться, но это если удалять совесть подпольно, в какой-нибудь районной больнице задешево, а если заграницей и задорого, то там тебе вставят взамен совести пустую оболочку, похожую на совесть, напечатанную на 3D-принтере из биологически совместимых материалов, да так, что никакое УЗИ и даже МРТ с контрастом это не определит. Еще и справку дадут, что не удалять было нельзя, потому что совесть болела еще у эмбриона – мать во время беременности перенесла на ногах свинку, принимала сильнодействующие антибиотики, и от этого всего у пациента были беспрерывные головные боли, гипертония и энурез. Все это будет до того, как китайцы в своих секретных и подпольных лабораториях не изобретут вакцину, которая будет совесть парализовать, но не убивать. Все анализы будут в порядке, эхогенность в норме, а совесть рта раскрыть не может. Вот только стоить это будет сумасшедшие деньги. Еще и вакцинироваться нужно будет каждые три года. Ну, люди обеспеченные смогут себе позволить и вакцину, и операцию, а люди бедные… Для них ничего не изменится – бутылка водки, если обещал жениться и не женился, а оставил в интересном положении, или две, если обещал купить велосипед, но деньги пропил. Ну, а если что-то совсем плохое, то... водка и повторять про себя заплетающимся языком как мантру достоевское «Тварь ли я дрожащая или право имею?»

***

Дождь почти кончился. Где-то вдалеке, за озером, над высокой стеной леса еще погромыхивает, но гроза уже ушла и солнце выглянуло из-за огромной черной тучи, пять минут назад закрывавшей полнеба. Шарики мелких, как бисер, градин, только что прыгавших по столу и скамейке на открытой веранде, оплывают и превращаются в прозрачные капли, солнечные зайчики начинают осторожно выглядывать из-за мокрых, освещенных косыми солнечными лучами стволов сосен, и какая-то крошечная, размером с рюмку для ликера, птичка звонко зачирикала изо всех сил. Пахнет мокрой хвоей, разнотравьем, земляникой и всем тем, чем пахнет в начале июля в сосновом бору у озера после грозы. Смотришь на столб радуги, стремительно растущий в небо, на озеро, на мелкие оспинки дождевых капель, усеивающие его поверхность, на стрижей, носящихся над самой водой, на белую цаплю, бесшумно, как привидение, взлетающую из зарослей осоки, на лодку, привязанную к ржавому столбу, когда-то бывшему опорой давно сгнившего причала, и думаешь:

– Когда эта война кончится…

***

Читая материалы по истории Второго Всесоюзного съезда писателей, невольно захотел на себя примерить мундир советского писателя. Конечно, не литературного генерала с лавровыми венками на погонах и золотыми перьями в петлицах, а мундир самого обычного писателя районного… нет, лучше областного масштаба, у которого одно, а в лучшем случае два небольших серебряных пера на погоне с двумя просветами. Не то чтобы мне хотелось проработок за написанный роман или пьесу, как это случилось с романом Веры Пановой и пьесой Леонида Зорина, нет, но просто посидеть в Большом Кремлевском дворце не в партере, где каждый писатель на виду, а где-нибудь в задних рядах поближе к выходу, чтобы можно было обмениваться мнениями с соседями, выходить покурить во время скучных до зевоты докладов Суркова или Федина, сидеть в буфете за рюмкой коньяка и бутербродом с копченой колбасой или даже икрой и… помалкивать. Насчет обмениваться мнениями с соседями я, конечно, погорячился. В пятьдесят четвертом году, как и сейчас, можно было так обменяться, что потом мало не показалось бы. Все эти дискуссии о теории бесконфликтности и о беспротиворечивом развитии социализма, все эти жаркие и не очень споры о том, каким должен быть главный герой в советском романе – с крыльями или все же может по праздникам выпивать, нецензурно выражаться и хватать за подлежащее крановщиц, балерин и учительниц младших классов, напоминают мне средневековые схоластические споры о том, сколько ангелов или чертей может уместиться на булавочной головке.

Нет, скромный писатель областного масштаба, сидящий в буфете, думал бы о том, как написать производственный роман или пьесу из жизни… да из какой угодно жизни, только не из той, которая его окружала на самом деле, чтобы потом тебя не песочили на собраниях местных писательских организаций и партсобраниях, чтобы не делали оргвыводов, чтобы без выговоров с занесением в личное дело, чтобы хороший тираж и потиражные, чтобы хорошая критика, чтобы не хвалили взахлеб и не плодили завистников, а отзывались как о хорошем сукне – добротное, чтобы четверка с плюсом, а не пятерка, чтобы пара мелких и штук пять очень мелких недостатков, чтобы было куда расти над собой, чтобы из коммуналки переехать в отдельную квартиру, а может быть даже купить «Москвич», пусть и подержанный, для поездок на рыбалку и за грибами.

О животноводах или трактористах я бы написать не смог – я их и видел-то всего несколько раз в жизни, к тому же они по странному стечению обстоятельств были не очень трезвыми, а вот о химиках…

Представим себе химика, которому партия и правительство поручили разработать средство... Пусть будет философский камень, с помощью которого можно превращать любые металлы в золото и из каждого ствола добывать молодильные стволовые клетки. Даже из оружейного.

Поручат это архиважное и ответственное дело какому-нибудь секретному номерному институту, директором которого окажется… например, убеленный сединами академик и по совместительству генерал-лейтенант, у которого в роду есть немцы, приехавшие в Россию еще при Екатерине Великой, и который, еще мальчишкой, бегал к самому Менделееву в лавку за образцами Смирновской водки, когда Дмитрий Иванович писал свою диссертацию о соединении спирта с водой. Академик будет ретроградом (а кем же еще) по имени Викентий Леопольдович Кнастер. Трицератопс, чудом доживший до начала четвертичного периода – аккуратно подстриженная острая бородка, пенсне на черном шнурке, черная академическая шапочка, черный галстук-бабочка, кабинет, уставленный шкафами, заполненными бесчисленными томами Chemische Berichte за последние четыреста пятьдесят лет, и старинный письменный стол, заваленный рукописями алхимиков, которые наши разведчики раздобыли по случаю в разных секретных хранилищах разных стран. Все же академик, хотя и ретроград, имеет орден трудового красного знамени... нет, два ордена –

один за разработку... впрочем, обе эти разработки настолько секретные, что упоминать о них лучше не стоит.

Дочь академика Софья Кнастер, тоже химик, правда, у лабораторного стола не стояла ни одного дня, кроме дипломной работы, да и то, диплом был по снятию инфракрасных спектров на заграничном инфракрасном спектрометре. Перекладывает с места на место какие-то бумажки в отделе аспирантуры, ходит в туго накрахмаленном белом халате, туго обтягивающем ее большую и постоянно волнующуюся грудь, которой она встречает молодых аспирантов, пришедших сдавать экзамены на кандидатский минимум. Академик живет с дочерью один – он вдовец. Жена его, тоже химик, несколько лет назад во время секретных испытаний чего-то очень секретного заразилась неизвестной науке африканской или австралийской болезнью от одного институтского завлаба и скоропостижно скончалась.

Заместитель Кнастера по научной части доктор Молчалин Павел Сергеевич. Убежденный холостяк лет тридцати или сорока с лишним. В тщательно скрываемом прошлом троцкист. Тайно преклоняется перед Западом. Носит на серебряной цепочке швейцарские часы Tissot, якобы доставшиеся ему от деда – швейцарского коммуниста-подпольщика, а на самом деле купленные за несусветные деньги у какого-то спекулянта. Лабораторную посуду признает только немецкую. Каждую колбу, каждую пробирку и каждый термометр подписывает алмазным стеклорезом, чтобы их нельзя было украсть. Страшный педант. Безуспешно пытается затащить в свою холостяцкую постель дочь директора.

Старый аппаратчик Кондратьич. Ходит в черном лабораторном халате, в нескольких местах прожжённом кислотами. Никто не знает ни его имени, ни фамилии – только отчество. Он был здесь всегда. Даже когда до революции семнадцатого года в здании, где теперь находится институт, квартировал дом терпимости. Об этом времени Кондратьич любит рассказывать разные истории, когда выпьет, а пьет он только денатурат. Называет его ласково «синичкой» и уверяет всех, что денатурат куда полезней для организма, чем водка, которую теперь неизвестно из чего делают.

Привидение Рудольф Рудольфович. Оно по ходу пьесы нигде не появляется. Просто существует где-то в подвале. Время от времени стучит по трубам и воет в вытяжной вентиляции. Иногда кажется, что в этом вое можно различить какие-то слова, какую-то жалобу, но на что... Рудольф Рудольфович никогда не просыхает. Он и трезвый-то завывает так, что его понять почти невозможно, а уж пьяный... Кондратьич и Рудольф Рудольфович часто напиваются вместе и хулиганят – то реакцию у кого-нибудь проведут за час вместо десяти, то устроят выделение горючего газа там, где его быть не должно.

Молодой аспирант и стахановец Василий Пшеницын. Диссертацию пишет по ускоренным методам гидрирования или хлорирования веществ для служебного пользования.

Сторож и институтский истопник Николай Чум. Косит под корейца из Средней Азии, но на самом деле – английский шпион. Его подобранная на улице бездомная собака по кличке Муха – тоже английский шпион, но выше по званию. Чум этого не знает.

Само собой, такой пережиток прошлого, как Леопольд Викентьевич, и философский камень ищет с помощью средств, которые давно устарели. Разгорается конфликт между Кнастером и Пшеницыным. Молчалин занимает сторону Пшеницына, надеясь занять кресло Кнастера. Первые экспериментальные микроскопические философские камни, выращенные под руководством Кнастера, оказались нерабочими.

В конце концов философский камень найдет на Урале пьяный лесничий в лесу возле Красномурьинска или Шалапаевска, и он окажется метеоритом – углистым хондритом с молекулами аминокислот, м-РНК и других азотистых соединений и будет повышать потенцию, а не омолаживать и превращать свинец в золото. Лесничий принесет его домой, воспользуется сам и расскажет знакомым мужикам о произведенном эффекте, а те потянутся к нему, чтобы… Расплачиваться станут самогоном, и в избушке лесника начнется такая ежедневная пьянка, что о произведенном всего один или два раза эффекте можно

забыть. Жена лесника, видя такое дело, крадет у мужа камень и относит его в местный краеведческий музей. Там его помещают в витрину под стекло и снабжают соответствующей научной этикеткой. Между тем народная молва… Слухи об очередях в музей доходят до обкома партии, и через какое-то время в Красномурьинск или Шалапаевск приезжает комиссия из московского астрономического института академии наук, чтобы забрать метеорит, но в ночь перед самым приходом ученых кто-то проникает в музей, разбивает витрину и похищает драгоценный экспонат. Заводят уголовное дело. Вызывают из областного центра следователя по особо важным делам, начинается следствие и повальные обыски. При обыске у музейного сторожа Василия находят фотокарточку, где он в форме штабс-ротмистра Литовского уланского полка с орденом Св. Владимира с мечами, а у хранительницы фондов Маргариты Константиновны в постели находят самого Василия, племянника, живущего за границей Красномурьинска или Шалапаевска, и глину, прилипшую к ее босоножкам, которая, как выяснится после экспертизы, окажется землей из тоннеля, который эта женщина копала из Красномурьинска или Шалапаевска в Лондон.

В разгар следствия умирает лучший друг музейных работников, дело закрывают, всех, кого успели арестовать, выпускают и реабилитируют. Выпустят даже полуживого Викентия Леопольдовича, которого посадили чтобы два раза не вставать, а метеорит… Власти так и не смогут его найти. Потом через паспортные столы энтузиасты разыскивали семьи, ставшие многодетными после того, как метеорит исчез из музея, записывали показания свидетелей, которые если и сами не испытали магическое действие углистого хондрита с молекулами аминокислот, то слышали от очевидцев…

***

Иной раз тянет вспомнить что-нибудь из своего литературного прошлого, но память подводит и подсовывает не встречи со знаменитыми писателями, поэтами или литературными критиками, не умные разговоры с ними, которых никогда не было[3], хотя для воспоминаний не грех было бы и сочинить, а… лет тридцать назад, когда я еще сам себе подавал надежды, занесло меня на встречу с одним поэтом, проходившую в каком-то полутемном полуподвале по случаю выхода его новой книжки. Пока поэт читал свои новые стихи, два его товарища, примостившись за маленьким столиком у входа в помещение, нарезали бородинский хлеб, копчёную колбасу и доставали из банок маленькие маринованные огурцы, которые полагались в комплекте с бутербродом и рюмкой водки для мужчин и пластиковым стаканом красного вина для женщин. Запах от этих приготовлений шел одуряющий… Сам виновник торжества всего этого не видел и не чувствовал, поскольку был в упоении от собственных стихов и продолжал их читать наизусть без остановки, а вот слушатели… Те, кто сидел ближе к столику, на котором готовился немудрящий фуршет, каким-то образом уже успели откусить то, до чего смогли дотянуться, и даже выпить, а вот первые ряды, в которых сидели родственники и близкие друзья, заметно нервничали, справедливо опасаясь, что задние запросто могут выпить и съесть все то, что предназначалось всем, если чтение стихов продлится еще хотя бы четверть часа. Надо сказать, что их опасения были не беспочвенны. В компании писателей, а тем более поэтов, такое случается чаще, чем хотелось бы. Наконец уговорили именинника устроить перерыв, чтобы немного подкрепиться, и уж во втором отделении с новыми силами… сбегать еще за водкой и маринованными огурцами, поскольку пара буханок бородинского хлеба оставалась еще не нарезанной.

И ведь стихи-то были недурные. Хорошие были стихи, но в памяти не осталось ни одной строчки – все их вытеснил запах хлеба, копченой колбасы и маринованных огурцов.

---

[3] Нельзя сказать, чтобы я с ними не встречался вовсе, но как-то все молча стоял у стенки или сидел с краю стола… Никто со мной из знаменитостей не то что разговоров не вел, но даже и не спрашивал, где здесь, братец, нужник, и не просил передать соль, а зря – я, может, и не всегда знал, где нужник, но соль передать мог запросто, а в те времена, когда курил, еще и дать прикурить, и даже угостить, в случае нужды, сигаретой.

***

Пасмурно. Ветер шумит в верхушках старых берез, носит ласточек над озером и хлопает по воде листьями кувшинок. Небо обложено тяжелыми серыми тучами. Дождя нет, но вот-вот пойдет. Время от времени где-то далеко, за островом, кричит птица. На дальнем от меня берегу не видать ни огонька, ни избушки – только глухая стена мрачных елок и осин. Я сижу в маленькой надувной лодке между водой и тучами, пью чай, а мимо меня проплывает мертвая голубая стрекоза. Здесь и тысячу лет назад было то же самое – то же озеро, те же берега, заросшие камышом и осокой, те же ласточки носились над водой, точно так же время от времени кто-то кричал нечеловеческим голосом далеко за островом, только голубая стрекоза была еще жива и стремительно носилась в прибрежных зарослях. Бродили в те далекие времена по этим и сейчас дремучим лесам дикие, неодомашненные люди, собирали дикий мед, дикую землянику и дикие маслята с дикими лисичками, ловили дикую рыбу и охотились, но людей было так мало, а рыбы, земляники, маслят и лисичек так много, что общей картины люди не меняли, да и не хотели изменить. Как объяснить самому себе, почему мне здесь хорошо и я чувствую себя на своем месте… При том, что у меня в руке кружка с почти остывшим чаем, а не стакан с водкой.

***

Чем старше становишься, тем чаще хочется, чтобы все уже было написано, чтобы трехтомник избранного или даже пятитомное собрание сочинений издано в солидном издательстве; чтобы на корешках аккуратных небольшого размера упитанных томиков, какие бывают у поэтов, серебряное тиснение, потому что золотое это все же моветон; чтобы все это стояло на полке над письменным столом в кабинете и радовало глаз; чтобы можно было пить чай или чай с коньяком или коньяк без чая с видом на эту полку или спорить о чем-нибудь с женой, спиной чувствуя эти пять томов в твердых переплетах; чтобы при недостатке аргументов у жены ты мог бы спрятаться за них, как за крепостную стену... хотя, если у жены не хватает аргументов в споре, и десятитомная крепостная стена не спасет; чтобы поехать в какой-нибудь санаторий или дом отдыха, а не творчества, – и не для того, чтобы там в муках писать роман или повесть, а гулять по парку, кормить птиц пирожком с капустой, оставшимся после полдника, смотреть по телевизору футбол или хоккей, или даже читать какую-нибудь книгу, которую лет десять собирался прочесть, да все руки не доходили, потому как были заняты написанием собственной; чтобы по вечерам, после футбола по телевизору, не собираться у себя в номере с друзьями писателями за бутылкой коньяка, чтобы обсуждать какой-нибудь незаслуженно имевший успех у читателей чужой роман, который не дай Бог еще и премию получил, или… вообще туда не ездить, а поехать с женой к морю или на рыбалку, и по вечерам, после рыбалки, собираться с ней у костра, хлебать обжигающе горячую уху из подлещиков или ершей, пить собственноручно приготовленную настойку на вишневых плодоножках, и не обсуждать какой-нибудь незаслуженно имевший успех у читателей чужой, еще и получивший премию роман, пока настойка и жена сами этот разговор не заведут; чтобы начать жить нормальной жизнью, какой ты жил лет тридцать или сорок назад, вместо того чтобы каждый божий день и даже по ночам просыпаться и ворочать в голове какой-нибудь текст вроде этого, подгонять друг к другу слова в простых и сложносочиненных предложениях так, чтобы между ними невозможно было просунуть ни одной лишней буквы и даже запятой, исправлять, зачеркивать, снова зачеркивать… и потом все равно окажется, что горизонт последнего предложения завален как у начинающего фотографа-любителя, что выдержка должна быть больше, а диафрагма…

***

С возрастом нет-нет да и начинаешь задумываться, что от тебя останется у твоих близких – у детей, у внуков, у близких родственников. Я не про замки, бриллианты, акции,

квартиры и земельные участки. Я про мелочи вроде старой чашки с блюдцем, часов на цепочке или хрустальной рюмки. Раньше с этим делом все обстояло хорошо – всегда в родительских сервантах стояли бабушкины и дедушкины чашки, рюмки, в ящиках комодов лежали дедушкины часы, запонки или любимый дедушкин штангенциркуль, который дедушке достался от прадедушки, или авторучка с золотым пером.

Теперь... Не знаю, что сказать про теперь. У меня, конечно, есть папины часы, которыми его наградили к трехсотлетию российского флота, и стакан с мельхиоровым подстаканником, из которого он любил пить чай... У меня у самого два таких стакана с подстаканниками. Еще и чашка. Кому это все будет нужно... У меня и детей-то всего двое. Зачем им три стакана с подстаканниками. Им и один не нужен. Тем более внукам. Тем более, что живут они далеко, а ведь кроме подстаканников есть еще и хрустальные рюмки – шесть штук..., но я сейчас не о них. Сейчас о нематериальном – о словах, привычках и всем том, что нельзя потрогать руками.

От моей няни мне досталось слово «давеча», любовь к цветам на подоконниках, безделушкам на комоде, без которых не бывает уюта в доме, к простой русской кухне – кильке, квашеной капусте, картошке в мундире, щам и к постному маслу (так она называла подсолнечное). Всегда трижды, пусть и мысленно, плюю через левое плечо, если дорогу перебежит кошка, и не сомневаюсь, что кто-то меня вспоминает, когда я икаю. Верю в вещие сны. Когда был маленький – всегда няне рассказывал о том, что мне снилось, а она мне объясняла, что к чему должно сниться. На всю жизнь запомнил, что сырое мясо – к болезни. Так оно всегда и было, но к старости что-то в этом механизме сломалось, и однажды я заболел без всякого сырого мяса во сне. Лет с четырех или с пяти знал, к чему снятся собаки, что медная мелочь снится к плохим известиям и к слезам, а серебро к хорошим новостям и к письмам с хорошими известиями, что снится к перемене погоды, что плохие сны нужно рассказывать бегущей воде и тогда они не сбудутся. Утром, как проснулся – пошел в ванную комнату, открыл кран, рассказал свой сон воде, идущей из него, и все непременно обойдется. По крайней мере в детстве всегда обходилось. И еще она меня научила говорить: «С Богом», когда кого-то из близких провожаешь в дорогу. Особенно в дальнюю. То есть она не учила, а просто так всегда говорила, когда кого-то провожала, в том числе и меня. Не всегда я это говорю вслух, но всегда произношу про себя.

Дедушка с папиной стороны оставил мне слово «чахотка», которым он называл меня из-за моей худобы. В детстве я был очень худым. Такая у меня была в детстве конституция. Где-то теперь эта конституция… и худоба. Дедушка умер очень давно, когда я еще учился в школе. Помню, как он любил сидеть на скамейке у себя в саду, растирал в своих огромных мозолистых ладонях сорванные листья мяты и нюхал их. Мне он тоже давал несколько листочков, чтобы я делал то же самое. Мне было лет пять или шесть, и растирать получалось у меня не очень, но я старался. По крайней мере нюхал изо всех сил. Таких огромных рук, как у деда, у меня так и не выросло, садом я не обзавелся, но стоит листьям мяты попасть мне в руки, как я немедленно начинаю их растирать и нюхать. Видимо от него же мне досталась любовь к сочинению разных небылиц. Правда, дед сочинял разные смешные истории про соседей, особенно про тех, которых недолюбливал, за что бабушка его ругательски ругала. Правильно ругала – в маленьком захолустном городке, который был больше похож на большую деревню, сочинять истории про одних соседей и рассказывать их другим… Конечно, и я бы так с удовольствием делал, но не делаю, потому что живу в мегаполисе, а какие в мегаполисе соседи... я их и в лицо-то не всегда узнаю.

От дедушки с маминой стороны мне, кроме имени, не досталось никаких слов и привычек, поскольку он погиб задолго до моего рождения – осенью сорок первого где-то в окружении под Черниговом. Правда, бабушка говорила, что он писал стихи и перед войной даже вышла книжка, но она не сохранилась, а может, она и вовсе не собиралась выходить. Теперь уж не узнать. Бабушка плохо помнила, но какой-то участок, отвечающий за стихи, в какой-то из дедушкиных хромосом, наверное, был, раз я потом, через полвека стал писать стихи и даже написал их на целую книжку…, а иначе как это объяснить. От мамы, а ей от

бабушки, мне досталось присловье «нашим врагам». Так говорится, когда сваливается на тебя какое-нибудь несчастье или счастье, от которого нельзя отказаться. Мама и бабушка это присловье употребляли часто. Даже когда я в детстве не ел кашу, мама могла пожелать нашим врагам так ее есть, как я.

Папа мне оставил привычку всегда ходить в начищенной до блеска обуви, прислушиваться к советам, но делать все по-своему, и две поговорки. Одна из них – послушай женщину и сделай наоборот, а вторая – никогда не жалей о сделанном, но всегда делай выводы на будущее. По молодости, для того чтобы сделать наоборот, мне даже женщину не нужно было слушать, а уж сколько раз я пожалел о сделанном, и вместо того, чтобы задуматься о выводах… Теперь-то я стал не то чтобы мудрее, но рассудительней и осторожней[4]. Как то утро, которое вечера мудреней.

И еще. Как-то раз, в самом начале девяностых, зашел у нас с папой разговор о переменах. Мы тогда, надышавшись воздухом свободы как гелием, чувствовали легкость в мыслях необыкновенную и если и не витали в облаках, как воздушные шарики, им надутые, то уж ног-то под собой точно не чуяли. Папа посреди моего рассказа о светлом и прекрасном будущем, которое стоит на нашем пороге, вдруг помрачнел лицом и сказал: «Уезжал бы ты отсюда. Здесь ничего хорошего не будет».

Уехал я позже, через два года после его смерти. Поработал недолгое время на другом краю света, в Калифорнии, вернулся и не жалею об этом. После возвращения выводов на будущее понаделал столько… и еще два раза по столько. И сейчас продолжаю их делать, хотя пора и остановиться, потому как будущего осталось… Хорошо бы еще эту папину фразу удалить из головы, но она как попала туда, так и торчит там, как маленький ржавый гвоздь в ботинке, и никак не выдергивается. Не могу сказать, что он мне сильно мешает при ходьбе, но к непогоде или в дни магнитных бурь, которые теперь случаются все чаще и чаще, как начнет ныть…

Детям от меня осталась на память привычка задумываться на ровном месте, сидеть, подперев голову левой рукой, любовь к конфетам «Коровка» и фраза «Дети, чтобы вы мне все были здоровы». Так я им говорил, когда они не слушались. Так мне говорила бабушка, когда я ее не слушался. Теперь они так говорят моим внукам, а внуки, как и я в детстве, умеют не слушаться. Сыну достался еще и старый немецкий штангенциркуль в деревянном футляре, который мне подарил папа, а к штангенциркулю любовь к конструированию химических реакторов. Не так уж и мало, как мне кажется, если учесть, что «От всего человека вам остаётся часть речи. Часть речи вообще. Часть речи».

***

Лучше всего, исключая тихих ангелов, тишину подчеркивают кукушки, никак не засыпающие и жужжащие между рам осенние мухи, лягушка, прыгнувшая в старый пруд, пустая бутылка, прогрохотавшая в мусоропроводе посреди ночи, капающий на кухне кран и громко тикающие настенные часы, если они у вас есть. Мухи в комплекте с настенными часами могут подчеркнуть даже безмолвие. Подчеркивать тишину могут и осенний лес, и медленно падающие листья, и крик еле видимого в вышине ястреба, и убранное поле, и жалобное пение цепенеющих от холода кузнечиков, и мышиное шуршанье под полом, и снег, идущий за окном, и дрова, потрескивающие в печке, и даже жена, если она по одной ей известной причине с вами не разговаривает вот уже полчаса или хотя бы минут десять… может так подчеркнуть тишину, что та зазвенит.

---

[4] С возрастом и вообще начинаешь меньше жалеть о том, что сделано. Поздно об этом жалеть. Больше жалеешь о том, что сделать не захотел или не успел и уже никогда не успеешь. Впрочем, и об этом поздно жалеть.

***

Долго ловил и наконец поймал себя на мысли о том, что хочется впасть в детство. Не в том смысле, что ходить в детский сад и не работать. Нет, детский сад с его комками в манной каше, утренниками и чтением стихов про зайчиков и дедушку Ленина я терпеть не мог, но в такое детство, где за соседним домом начинались дальние страны, а скорые поезда, стоявшие не больше минуты в нашем небольшом провинциальном городе, шли если не в Африку, то уж точно к какому-нибудь морю или океану. Хочется как в первый раз посмотреть в телескоп, сделанный своими руками, на Луну и онеметь от восторга, прочесть «Трех мушкетеров», или «Затерянный мир», или рассказы о Шерлоке Холмсе, облиться слезами над письмом Ваньки Жукова; ехать за туманом и за запахом тайги, носить розовые очки и верить в светлое будущее, в прекрасный полдень двадцать второго века, в марсианские каналы и в то, что по их берегам будут цвести яблони, посаженные нашими космонавтами; мечтать об Америке, в которой живут индейцы и следопыты Фенимора Купера, а не вспоминать километровые пробки на Пятом хайвее по дороге из Сан-Диего в Лос-Анджелес; смотреть диафильмы про устройство нашей галактики, мечтать о путешествиях во времени и готовиться к охоте на динозавров, начитавшись до тройки в четверти по русскому языку научно-фантастических рассказов; в первый раз посмотреть в микроскоп и увидеть вселенную инфузорий-туфелек, дафний и жгутиковых эвглен; каждый день искать клад – или пиратский, или библиотеку Ивана Грозного, или римский меч гладиус, или какой-нибудь средневековый фолиант или даже древний папирус, в котором будет описан контакт древних египтян с пришельцами из туманности Андромеды, а заодно и философский камень, превращающий свинец в золото; слушать по субботам «Клуб знаменитых капитанов» или «Театр у микрофона»...

Если бы я ничего не знал о парадоксах причинности, о квантовой хронологии Хокинга, о втором законе термодинамики, о стреле времени и об энтропии, которая может только расти..., то уже готовился бы к путешествию в шестидесятые годы прошлого века – положил бы в ранец пенал с перьевой ручкой, складной перочинный ножик, насобирал бы мелочи, чтобы купить стакан воды с сиропом за три копейки или коржик за одиннадцать, увеличительное стекло, вытащенное из какого-нибудь старого бинокля, фотоаппарат «Смена-8», фильмоскоп с диафильмами «Мир звезд» и «Охотники за динозаврами», коробку цветных карандашей «Спартак» фабрики Сакко и Ванцетти и конечно настоящие китайские кеды «Два мяча».